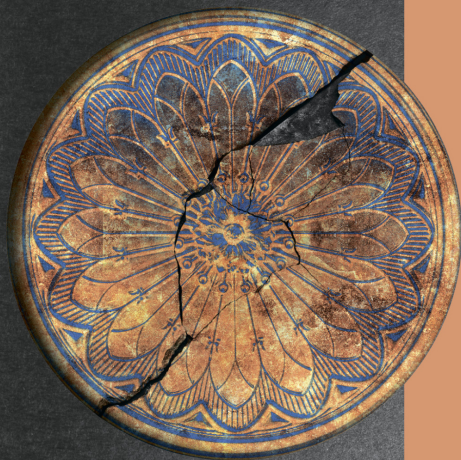


# КИМ СОНДОН

k-fiction

Говорят, любой, пробудившись,  
может стать буддой



# МАНДАЛА

**Сондон Ким**  
**Мандала**  
Серия «К-фикшен»

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=69232297](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69232297)*  
*Мандала: АСТ; Москва; 2023*  
*ISBN 978-5-17-151614-7*

**Аннотация**

«Мандала» – полуавтобиографический роман, наполненный воспоминаниями о пережитых испытаниях и духовных поисках. Роман изобилует критическими выпадами по отношению к корейскому обществу и буддийскому монашеству, пораженному жаждой мирских утех.

Автор знакомит читателя историей двух молодых людей, которые ищут правду жизни в религии.

# Содержание

1	5
2	42
Конец ознакомительного фрагмента.	78

# Сондон Ким

# Мандала

Copyright © Saeum Books  
All rights reserved.

Russian translation rights

© 2023 AST Publishers Ltd.

© Азарина Л. Е., перевод на русский язык, 2023

© ООО «Издательство АСТ», издание на русском языке,  
2023

С тайной нерешённого хваду<sup>1</sup> в котомке, я брёл, как почтовая лошадь, от одного ночлега к другому, пока не пришёл в храм Пёгунса в уезде С. Едва приоткрылась дверь гостевой, в нос ударил резкий запах сочжу<sup>2</sup>. Помешкав на пороге, я неохотно бросил: «Доброго здоровья. Примите странника» – и вошёл.

В комнате, привалившись к стене, сидел сухой, как щепка, монах лет тридцати и наливал себе сочжу. Я снял с плеча котомку, положил её в угол и сел, но и тогда он не оторвал глаз от стопки в своей руке и не взглянул в мою сторону. В его позе читалось полное пренебрежение ко всему, ему и дела не было до какого-то странствующего монаха. Меня кольнула досада.

– Бардак, – язвительно буркнул я, преисполненный глубокого презрения, и резко поднялся.

– Весь мир – бардак, – пробормотал он себе под нос, наконец удостоив меня взглядом. Его вытянутое тощее лицо было землисто-бледным, как старая бумага, глаза глубоко запали в тёмные глазницы. Судя по виду, он пил не просыхая и,

---

<sup>1</sup> Хваду – короткое повествование, содержащее некий парадокс. Через решение хваду, полученного от наставника, ученик постигает суть учения и может прийти к просветлению.

<sup>2</sup> Сочжу – традиционный корейский алкогольный напиток, рисовая водка.

похоже, был из «пропавших» – так называют опустившихся монахов.

– Мир – бардак, говорите? – холодно отозвался я, взявшись за лямку котомки. – Не потому ли мы следуем Пути? Чтобы навести порядок в мире, надо сначала очиститься самому, очистить общество...

Он досадливо отмахнулся – мол, хватит! – и посмотрел на меня. Его взгляд оказался неожиданно глубоким и свежим, в нём сквозила какая-то неизъяснимая печаль и вместе с тем угадывалось обилие пережитого. Я стоял в нерешительности, сжимая в руке лямку своей котомки.

– Очиститься самому, очистить общество... Сделать этот мир землёй Будды. Не это ли высочайшая цель монахов вроде нас с тобой?

Прервавшись, он опрокинул в себя стопку сочжу, которую держал в руке. Потом снова взял бутылку. Стопка наполнилась лишь наполовину – в бутылке больше не осталось ни капли. Сморщив лоб, он со стуком опустил её на стол.

– Всё верно. Ты говоришь исключительно правильные вещи. Вижу, тебе противно смотреть, как монах напивается? Брось! Пьющему – да будет позволено пить!

Он полностью перешёл на «ты». Забавно, но его фамильярность меня не задела – даже наоборот, во мне пробудилось какое-то необъяснимое любопытство. В том, как невозможно – если не сказать вызывающе, – этот человек напивался среди бела дня, было нечто, не позволявшее презирать

его единственно за то, что он «пропащий».

– Горе-монах Чисан, то есть «знающий горы», – представился он. – Тридцать один год.

Я бесшумно сел и ответил:

– Моё имя Побун, мне двадцать четыре.

Он встряхнул стопку, осушил её и поёжился.

– Знаю ли я горы? Разве это возможно? Знаешь горы – знаешь и жизнь, ведь так? Горы – это тайна. Вечная тайна... Может, потому я и живу в горах. Неведение сродни счастьем.

Он оказался неожиданно словоохотлив.

– В этом смысле моё имя слишком ко многому обязывает. Я даже об этом напитке в моём стакане ничего толком не знаю. Что уж говорить о жизни... А ты, значит, Побун – «облако Дхармы»<sup>3</sup>... Хорошее имя. У каждого должно быть имя, которое ему к лицу... Взгляни на меня. Разве это человеческое лицо? Скорее уж рожа голодного демона, алчущего вина... О-о, Владыка Всевидящий!<sup>4</sup>

Он потряс головой, будто жалея, что напрасно заговорил о своём имени.

В это время послушник принёс ужин. Еды было на одного. Я собирался было попросить его принести ещё одну тарелку, но Чисан махнул рукой:

---

<sup>3</sup> Дхарма – учение Будды, порядок мироздания.

<sup>4</sup> Обращение к бодхисаттве Авалокитешваре, который считается воплощением бесконечного сострадания.

– Не надо. Это твоя доля, Побун.

– А вы не трапезничаете?

– Вино – вот моя трапеза. Как прихватит – долго не отпускает. Вот такие дела. Эй, малой! – обратился он послушнику – пареньку лет четырнадцать.

– Чего вам? – сердито огрызнулся тот. В его голосе звучало нескрываемое презрение: мол, какой ты монах – напиваешься среди бела дня. На такое надменное обращение Чисан и глазом не моргнул, его лицо оставалось спокойным.

– Позови-ка настоятеля.

– Ладно. Фу, ну и запах...

Злобно покосившись на Чисана, послушник вышел. Чисан привалился к стене и закрыл глаза.

Когда я закончил трапезу, вернулся послушник с настоятелем.

– Ах, так у нас гость!

Я поднялся, сложил ладони и согнулся в поклоне.

– Да, вот проходил мимо... Позвольте поприветствовать вас.

Я собирался сделать земной поклон, но настоятель жестом меня остановил.

– Э, не стоит. Давайте-ка просто сядем и поглядим друг на друга – для приветствия довольно. Вы откуда?

– Из монастыря Хеинса – я провёл там сезон дождей.

– Ученик?

– Я был в затворе.



– Ах, так вы монахи! Ну а куда путь держите?

– Просто странствую.

– Странствуете, значит... Это хорошо. Идти налегке, с одной котомкой за плечом, вслед за облаками, за ручьями... Завидую я вам, странникам.

– Коли так завидуешь, отец-настоятель, котомку за плечи – и вперёд. Подай прошение об отставке, – вставил Чисан.

Настоятель на секунду сдвинул брови, но тут же как-то чрезмерно великодушно рассмеялся.

– Хо-хо-хо! Так ведь мы монастырские клерки, на нас хозяйство держится. Разве можно всё бросить и уйти куда заблагорассудится? Мы же охраняем храмовое имущество, оберегаем покой учёных монахов. Так и создается благо... Хо-хо.

– Отец-настоятель, не дашь ли ещё подкрепиться? – спросил его Чисан.

Улыбка с лица настоятеля сразу исчезла.

– Прекращай ты это дело, а, Чисан. Из-за тебя меня вот-вот выгонят. Люди ропщут.

– Выгонят, говоришь? Ну так и славно. Сам же сказал, что хочешь странствовать – вслед за ветром, за облаками. Чего ждать? Идём сейчас. Я покажу тебе путь. Это самое малое, что может сделать для тебя брат в Дхарме, которого ты кормил и поил.

– Опять ты за своё... Чего ты хочешь?

– Как будто сам не знаешь.

– Посмотри на себя... Тебе надо о здоровье подумать. Который уже день это продолжается?

Чисан скривил губы и как-то чудно улыбнулся.

– Если тебя так заботит моё здоровье, купил бы мне мяса. Напоил бы целебным отваром.

По лицу настоятеля скользнула тень замешательства.

– Нет, вы только послушайте этого горе-монаха!

– А что? Тебе денег жалко? Ну тогда принеси ещё выпивки. А отвары свои пей сам. Вон потому и превратился в стокилограммового борова.

– Ну ладно, ладно. Сейчас принесу. Только ты уж поосторожней. Тем более при госте...

Укоризненно поцокав языком, настоятель вышел.

Немного погодя послушник принёс две бутылки сочжу.

Чисан придвинул блюдце с маринованным острым перцем и налил себе рисовую водку.

– Выпей и ты, Побун.

Я отказался, боясь нарушить обет. Он больше не предлагал.

– Так вы с настоятелем братья в Дхарме?

– Ну да. Выходит, что так. Ещё мальчишками вместе проходили послушание.

– Где?

– В монастыре Судокса.

– А, в Судокса. Это ведь там жила монахиня Ирёп?<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ким Ирёп (1896–1971) – корейская писательница, журналист, борец за жен-

– Она жила в скиту за монастырём.

– Я читал одну её книгу, ещё до монастыря. «Сжигая юность».

– Это ты после той книги решил податься в монахи?

– Не совсем...

– Всё это ерунда. У меня вообще не было такой юности, которую можно было бы сжечь.

– Зачем себя этим истязать?

– Это не самоистязание, а жалость к себе.

Возле зала Дхармы загудел колокол. Первое «боммм» вибрировало долго и гулко, затем удары зазвучали чаще, тише, пока наконец не остался только шум ветра. С ветром долетали слова молитвы:

Мун-чон-сон-бон-нэ-дан

Чи-хе-чан-по-ри-сен

И-чи-ок-чуль-сам-ге

Вон-сон-бул-до-чун-сен

Слушая колокол, да избавишься ты от страданий

Да отверзнутся тебе двери светлой мудрости.

Вырвись из тройственного мира сансары,

Стань буддой и спаси страдающих существ.

Я достал из котомки касу<sup>6</sup> и перебросил через плечо.

---

ские права, ставшая буддийской монахиней.

<sup>6</sup> Каса – часть одежды буддийских монахов, тога красного или коричневого

– Вы не идёте на церемонию?

Чисан не ответил. Он величественно восседал в позе лотоса, приковав взгляд к стопке с сочжу. Было непонятно, услышал он мой вопрос или нет. Я шагнул к двери.

– Побун, ты куда? – вдруг окликнул меня Чисан.

– В храм.

– Для чего?

– На службу.

– Зачем тебе на службу?

Держась за дверную ручку, я обернулся. Он сидел в той же позе. У меня вырвался смешок.

– Ну вы даёте... Я ведь тоже хочу стать буддой.

– И что, сейчас в храме, куда ты направляешься, тебя ждёт сам Будда?

Я промолчал.

– На что это, по-твоему, похоже? – спросил Чисан, поднеся стопку ко лбу.

Я не ответил. Я думал, что он просто пьян.

– Ты, должно быть, видишь стакан. А вот я вижу Будду... То-то и оно. Вот в чём отличие Просветлённого от простых смертных. Твой Будда находится в храме, а мой – в этой комнате, в этом стакане. Почтение просветлённому бодхисаттве-сочжу.

Он поднёс стопку к губам и вылил содержимое в рот.

У меня исподволь задрожала рука – дверная ручка задре-

безжала. «Почтение просветлённому бодхисаттве-сочжу...» Прибавить к священному слову название этого гнусного на-питка да ещё и выказывать ему почтение... Какое непростительное святотатство! Подумав так, я тотчас же забормотал про себя мантру покаяния: «Ом сальба мотча мочки садая сабаха – обретаю прибежище во всех буддах и бодхисаттвах<sup>7</sup>. Ом сальба мотча мочки садая сабаха. Ом сальба мотча мочки садая сабаха».

На трясущихся ногах я вошёл в храм и трижды пал ниц, простираясь у Его ног. Потом поднял голову и устремил взгляд на Его лицо. Он лучезарно улыбался. О, эта улыбка! Эта изумительная, непостижимая тысячелетняя улыбка... Должно быть, она объясняет все восемьдесят четыре тысячи законов Дхармы, только я не могу понять ни слова. Коря себя за невежество и маловерие, я уронил голову.

Когда я вернулся из храма в гостевую, Чисан по-прежнему прикладывался к бутылке. Он сидел теперь по пояс голый – снял с себя даже майку.

Он был тощий. Пожалуй, даже искуснейшему мяснику, при всех стараниях, не хватило бы мастерства, чтобы отделить от его костей хоть толику плоти. Но это иссохшее тело, вопреки всему, обладало чарующей силой. В нём не осталось ни грамма лишней плоти – лишь горсть костей и самый минимум мышц для поддержания жизни. И тем не менее оно казалось безмерно прекрасным. Отчего? Не оттого ли, что

---

<sup>7</sup> Бодхисатва – просветлённое существо, будущий будда.

прекрасен был обитавший в нём дух?

Невероятно... Ещё недавно меня трясло от кощунственных слов Чисана, а сейчас я любовался его донельзя иссохшей оболочкой...

– Гитара при себе, – улыбнулся я, указывая на торчавшие под кожей рёбра.

Он засмеялся в ответ – как видно, над самим собой.

– Это верно. Гитара есть, сейчас и спою... У меня неплохо получается. И на гитаре бренчать умею. Дворовые псы так и носятся за мной по пятам. Всё ждут, что брошу им кость... Хе-хе-хе. А ты, я гляжу, в хорошем теле.

Я промолчал.

– С какой стати мне быть упитанным? Монаху не пристало разъедаться. Решил сделаться настоящим аскетом – не станешь отрачивать пузо.

Так значит, если положить все силы на то, чтобы испытать жизнь и превратить её в нечто прекрасное, если ради этого страдать – остаётся волей-неволей высохнуть как тростник? Я почувствовал себя пристыжённым: хотя я вовсе не был в хорошем теле, но рядом с Чисаном выглядел сытым. Однако его смех, прозвучавший как насмешка, меня задел.

– Песню давайте в другой раз. А сейчас я хочу узнать причину – почему вы пьёте. Почему монах пьёт...

Он странно скривил губы и усмехнулся.

– Не думал, что ты так плоско мыслишь. Нет никакой причины. В этом бренном мире ничто не имеет причины – всё

просто существует. Существование... Существование, брошенное нам, как кость... Чужой рукой... Хотя, по правде говоря, причина есть. Только вот поймёшь ли ты, если я тебе расскажу?

Его слова меня уязвили.

– У вас большое самомнение. Мне тоже пришлось побороться. Шесть лет, целых шесть лет...

– Порой куда лучше страдать самомнением, чем скромностью. По крайней мере самомнение не так опасно: за ним не скроешь порока. Это слова какого-то художника. Довольно ловко подмечено. Хе-хе-хе. Ну и чего ты добился? Шесть лет – немалый срок. Сиддхартха после шестилетних мытарств стал буддой. А чего в итоге добился ты в своей борьбе?

На меня остриями кинжалов были устремлены его глаза. Я онемел. Что я мог ответить? В чём заключалась суть моих отчаянных шестилетних поисков? Я пожертвовал юностью, корчившейся от мучительной жажды, – что такого я ожидал обрести взамен?

...Я подошёл к колодцу, где начиналась дорожка к флигелю, плеснул в разгорячённое лицо холодной воды и немного пришёл в чувства. Потом снова бросил ведро в колодец. Тогда-то это и случилось. Вдруг словно что-то ударило меня в затылок.

Как бы это описать? Это было нечто вроде яркой вспышки озарения, острым резцом вонзившегося в мозг; что-то вро-

де электрического разряда: точно я схватился мокрой рукой за голый провод и меня ударило током так, что всё моё тело сковало и затрясло. От этого мощного удара в затылок я, не выпуская из рук верёвки с ведром, невольно оглянулся и посмотрел по сторонам.

Однако вокруг не оказалось ничего необычного. В саду, в окружении пологих холмов, поросших густым ультрамариновым лесом, буйно цвели цветы; тут и там, будто изнывая от скуки, лежали камни самых причудливых форм; под льющимся с неба солнечным светом ухоженная лужайка сверкала, точно блестящая чешуя, – в этот весенний день в усадьбе царил покой.

И всё же что-то было не так. Я помотал головой и услышал, как внутри затрясся мозг; в висках ломило. Я вытащил ведро. Сидя на корточках, плеснул в лицо воды. Сознание сразу прояснилось. Я поднялся и пошёл к дому, собираясь вернуться в свою комнату. Но стоило сделать несколько шагов, как меня снова поразил тот необъяснимый удар в затылок.

Когда я оглянулся, в глаза неожиданно бросился диковинный камень. Это был один из десятков камней, свезённых сюда с самых известных гор страны. Их собирал мой двоюродный дед, отдавая за своё увлечение огромные деньги. Провалившийся на выборах, выброшенный из властных структур, дед, в довершение ко всему, на старости лет заболел раком; ухаживая за садом и камнями, он врачевал тоску



от тщеты бытия. Особую любовь, буквально страсть, дед питал к камням. По утрам и вечерам он выносил своё немощное тело в сад и, поливая камни, радовался, как ребёнок, убеждая всех, что они растут. После его смерти обязанность поливать камни перешла ко мне. Но в том возрасте уход за садом с камнями и прочие буржуазные развлечения не приводили меня в восторг; я относился к этой работе с формальностью, исключавшей всякую любовь.

Тот причудливый камень походил на человеческую фигуру. Именно он был очагом энергии. Влекомый какой-то неведомой силой, я подошёл к нему.

И вдруг я чуть не вскрикнул. То, что я принял за камень, оказалось живым человеком! Это был старый буддийский монах с бритой головой, в пепельно-сером одеянии.

Он сидел в сени раскидистой глицинии, под водопадом её обильных цветущих стеблей, в безупречной позе: с выпрямленной спиной и сложенными у живота руками; взгляд его был опущен – судя по всему, монах пребывал в глубокой медитации. Старик застыл, словно вековая скала, неизбежно стоящая на месте и в дождь, и в ветер, и оттого он в самом деле казался одним из камней.

Объятый мистическим трепетом, я не мог оторвать от него замороженного взгляда. Первый раз в этом мире я встретил такое прекрасное лицо. Я впервые открыл для себя, что мужские черты могут быть даже пленительнее женских.

Его тонкое лицо было светло и прозрачно, точно крылья

стрекозы, опустившейся поздней осенью на перечный куст, – но это только подчёркивало его печаль. Брови, вдвое гуще моих, белели, словно покрытые инеем; ровный нос, аккуратный рот, нисходящая линия от мочек ушей до подбородка – всё в нём было изящно. Он напоминал белого журавля, замершего, будто статуэтка, в зелёной кроне сосны.

Ах, так он не простой монах! Может даже, он мудрец, достигший просветления, как Шакьямуни.

Меня сковало невыносимое напряжение, я был словно провод под током. Я вспомнил свою гадкую физиономию, свою пьяную красную рожу, паскудную рожу, искажённую страстями и вожделениями, – и содрогнулся от стыда.

Моя двоюродная бабушка была убеждённой буддисткой; в своё время она приняла священные заповеди от монаха Ханам<sup>8</sup>, жившего в монастыре Санвонса в горах Одесан. Дед, также будучи глубоко верующим мирянином, возглавлял общегосударственную буддийскую общину. В их дом, где я гостил, часто приходили монахи. Бабушка хотела, чтобы я постигал буддийские истины, но религия меня не привлекала. Каждый раз при виде монахов я ощущал лишь мимолётную тоску; самый их облик – бритые головы и мрачная се-

---

<sup>8</sup> Ханам (1876–1951) – известный корейский монах, двадцать семь лет проведший в монастыре Санвонса. Во время Корейской войны, опасаясь, что монастырь в горах станет базой северокорейских партизан, военные приказали монахам сжечь его, а самим уйти. Ханам отказался покидать монастырь, заявив, что готов погибнуть вместе с ним. Была устроена имитация пожара, и монастырь удалось спасти.

рая одежда – почему-то навевал уныние. Прочее меня уже не интересовало. Я видел, что подвижники, оставившие след в истории, к примеру, Вонхё, Сосан или Самён, отличались от меня и внешностью, и всем остальным, поэтому, естественно, не испытывал благоговения перед монахами, похожими на меня самого. Однако этот старик и я – разве мы не были точно небо и земля: абсолютно разными во всём, начиная с наших лиц? Я осторожно, на цыпочках отошёл в сторону и решил выведать у бабушки, кто он такой.

– Юноша! – вдруг донеслось сзади.

Я остановился, оглянулся – и едва не ахнул. В устремлённых на меня глазах старого монаха мерцал огонь. Однако это длилось лишь мгновение. На его лице заиграла едва заметная спокойная улыбка.

Монах поманил меня. Я тряхнул головой. Боль в висках прошла, я вдруг словно опьянел. Нетвёрдым шагом я подошёл к нему и сел напротив, почти рухнув на землю.

– Студент? – спросил он. Голос у него был мягкий.

– Был... Теперь уже нет, – пролепетал я, запинаясь.

Монах посмотрел на меня с немым вопросом. Он незаметно сменил позу лотоса на более непринуждённую, расслабил напряжённый позвоночник, и всё его лицо теперь озаряла ласковая улыбка. Я вздохнул свободнее и взглянул ему прямо в глаза.

– Просто больше не нахожу причин ходить в университет.

Монах с удивлённым видом слегка наклонился ко мне:

«О, неужели?» Я заговорил напрямому:

– Знания вполне можно получить и самому. Меня гораздо больше волнует другой серьёзный вопрос. Преподаватели в университете всего лишь проводники общеизвестных фактов, прописных истин – они не могли дать мне вразумительного ответа. Я пытался найти его своими силами, читал, помимо учебников, всё, что попадалось под руку, много размышлял. Но мои мысли зашли в тупик, книги тоже оказались бесполезны. Я наткнулся на стену и впал в уныние. Преподаватели и взрослые вокруг не понимали моих терзаний; меня просто считали проблемным парнем, сбившимся с пути. Каждый раз, когда я сталкивался с непониманием или односторонними суждениями, то чувствовал себя глубоко одиноким. Наконец я пришёл к выводу, что эту проблему мне придётся решать самому, собственными силами, – и подал заявление об отчислении. Я мучился один, страдал один. Но вокруг густой туман. Непроглядный мрак. Пути нигде не видно. Оттого мне так тяжело. Потому я и выпиваю, хотя это не приносит мне никакого удовольствия.

Я выкладывал ему всё подряд.

– Мой отец был марксистом. Говорят, в той смуте, которая творилась в стране после Освобождения<sup>9</sup>, для интеллигента не заразиться идеями марксизма значило прослыть круглым идиотом. Но и не очнуться вовремя от иллюзий также было

---

<sup>9</sup> Освобождение Кореи от японского колониального господства, длившегося с 1910 по 1945 год.

уделом дураков. Отец, бывший управленцем в левой партии, серьёзно задумался. Естественно, между идеалами марксизма, о которых он читал в книгах, и их реальным воплощением существовала пропасть. Народ в массе полагал, что ради достижения цели все средства хороши; нечеловеческие методы шли вразрез с убеждениями отца, новоиспечённого марксиста. Он был совсем не глуп. После долгих метаний между идеалами и реальностью отец решил покончить с политикой. Он сделался домоседом, посвятил себя жене и детям, много читал и довольствовался жизнью обыкновенного книжного червя – пока однажды его не забрала полиция. Дед лёг костями, пытаясь спасти сына, но в итоге дело было передано в суд, и отцу грозили годы тюрьмы. Он надеялся на оправдательный приговор, однако началась война, и ему, вместе с другими левыми, объявили высшую меру. Отцу было немногим за тридцать, когда он лёг в землю. Обидно умереть в такие годы. Позже могилу раскопали – расстрелянных бросили, как собак, в одну яму, – но дед не нашёл тела сына и умер от горя, а семья оказалась на дне. Ещё недавно я думал, что отец погиб на войне, в яростной борьбе с коммунистами. Все вокруг так говорили. А потом узнал, что всё было иначе, и это меня потрясло. Однако не в том суть. Вопрос, который меня волнует, касается смерти, именно самой смерти. Почему человек должен умереть? Причём так, что его собственная воля совершенно ничего не значит. Даже хуже – за тебя решает кто-то другой, безжалостный, кому и де-

ла нет до твоего произволения. Все в итоге умирают. Но я не могу примириться с этим очевидным фактом. Если человек вынужден подчиниться неизбежной судьбе и бессильно принять смерть, разве это не делает его всего лишь никчемным и жалким существом? Раз эта проблема неразрешима, то я считаю, что все науки, богатство и власть, честь и слава – всё в этом мире бессмысленно. Вот главный демон, который терзает меня.

Когда, обливаясь потом, я закончил, старик-монах слегка покачал головой.

– Мирские науки не помогут разрешить этот вопрос.

– Тогда чему надо учиться? – нетерпеливо спросил я.

– Надо постигать духовное учение.

Слушая меня, старик сидел с опущенными веками, будто дремал. Внезапно он открыл глаза. В тот же миг меня бросило в дрожь, по коже пробежал мороз.

– Загадать тебе загадку? – сказал он.

– Загадку?

Монах снова прикрыл глаза и медленно заговорил:

– Есть бутылка с узким горлышком, но глубокая и просторная внутри. В неё посадили маленькую птичку и держали там, пока она не выросла. Теперь птицу нужно выпустить на волю. Но она уже большая и через горлышко не пролезет... Бутылку надо разбить – другого способа нет. Однако этого делать нельзя. Конечно, и птице нельзя навредить. Ну, так как же её выпустить?

«О, Влады-ы-ыка», – затянула бабушка и, коротко закончив: «Всевидающий», молитвенно сложила ладони и поклонилась в сторону храма.

– Там жил монах Чиам – великий человек. Он совершил харакири во имя очищения буддизма от скверны тайножёнства. В те времена многие выражали готовность ради чистоты пожертвовать собственной жизнью: сжечь себя или сделать харакири – однако в основном всё заканчивалось символическим жестом. Но досточтимый Чиам был не такой. О, Владыка Всевидающий! Это случилось в монастыре Чогеса. До сих пор стоит перед глазами. У монахов есть нож, которым они бреют головы, вот тем-то ножом он и вспорол себе живот. Да как – изрезал вдоль и поперёк... Даже внутренности вывалились. Ох, что об этом говорить. О, Владыка Всевидающий! Я уж думала, конец, отправится в нирвану. Прихожане отвезли его в больницу. Никакого обезболивания – так зашивали. Владыка Всевидающий! Он даже бровью не повёл. Настоящий подвижник, мастер медитации, – не чета нам, грешным мирянам. Ах, он совсем из другого теста.

Бабушка ненадолго замолкла и, глядя на храм, снова молитвенно сложила ладони.

– Медсестра, что ухаживала за ним в больнице, потом сама ушла в монастырь – настолько восхитила её вера досточтимого Чиамы. Она приходил к нам – ты, верно, её видел. Она всё истово молилась. Ну а после подвига мастера Чиамы

женатый настоятель всё же перестал упорствовать, оставил свой пост, и монастырь очистился от греха.

— А-а, — промычал я, сглотнув. — А сейчас он в каком монастыре?

— Нынче-то? Нынче он в затворе.

— Что это значит?

— Сидит в келье без окон. Раз туда зайдёшь — шесть лет выходить нельзя.

— Что же делать целых шесть лет?

— Что делать? Учиться, как стать буддой. Ведь и великий Будда Шакьямуни шесть лет подвизался в снежных горах, а уж после на него снизошло просветление. Вот по Его примеру монахи и уходят в шестилетний затвор.

— Но тогда... как же он вышел из затвора?

— Так у него загноился шрам на животе, вот он и вышел подлечиться. Скоро поправится. О, Владыка Всевидящий! Вот уж правда, всем монахам монах! Ах, такого монаха ещё поискать...

Монах Чиам прожил во флигеле бабушкиного дома около месяца, поправляя своё здоровье. Я многое от него узнал.

Он говорил, что все люди по своей природе равны и каждый заключает в себе сущность будды; что человеческое существование не заканчивается единственной жизнью: обитая в мире живых существ, так называемом океане страданий, человек заключён в бесконечный круговорот перерождений — колесо сансары. Став буддой, можно вырваться из



сансары и обрести вечную жизнь с безграничной свободой. Будда не бог – он человек, но человек, постигший истину, то есть просветлённый. Существуют разнообразные способы, помогающие прийти к просветлению: медитация, чтение сутр, молитва Будде, повторение мантр и другие. Медитация, всей мощью бьющая в стену самых неразрешимых вопросов и пробивающая её насквозь, есть кратчайший путь.

Одним словом, монах Чиам говорил, что любой человек может достичь просветления и стать буддой. Поэтому «будда» не имя собственное, а имя нарицательное. Таким образом, сам Будда не бог, он совершенная личность, совершенный человек – та вершина, которую способен достичь каждый.

– Ну что? Ты не считаешь, что это великое дело, достойное настоящего мужчины? Трудно родиться человеком, ещё труднее родиться великим, но гораздо сложнее встретить учение Будды. Можно ли впустую прожигать свою мимолётную жизнь, даже не зная, что такое моё «я». Не хочешь ли себя испытать? Представь, будто ты ещё не родился. За три года что-нибудь да получится.

Улучив свободную минуту, монах Чиам сажал меня рядом, рассказывал о буддийских истинах и советовал уйти в монастырь.

– Буддийские истины, что сахар: можно веками расписывать, какой он сладкий, но, пока сам не попробуешь, не узнаешь. Там, где кончается власть языка и слов, где кончается

избирательность ума, – начинается учение Будды. Мирская наука сводится к накоплению знаний, духовная же должна начинаться с отказа от них. Если в этом мире и существует достойное дело для великих, так это монашество...

Когда Чисан ошеломил меня вопросом, чего я достиг за шесть лет духовной практики, его взгляд был пронзительным, точно острое ножа, но уже через мгновение он снова погрузился глубоко в себя. Из храма доносился сонный рецитатив – новоначальный монах читал «Сутру тысячи рук и глаз».

Чисан сидел молча, прикрыв глаза и прислонившись к стене, я же не находил себе места. Незаметно бутылка оказалась пуста, закуска из перца была съедена.

– Выпьете ещё? – спросил я.

Чисан сразу же выпрямился и взял неоткрытую бутылку.

– Принеси-ка воды. Да, и поищи чего-нибудь в кухне – хотя бы кимчи<sup>10</sup>.

Чисан наклонился, из его груди вырывались сдавленные звуки, будто его вот-вот стошнит. После нескольких рвотных позывов он достал из поясного мешочка какой-то белый порошок и высыпал в рот.

– С желудком проблемы?

– Всё в порядке. Это для пищеварения, так что теперь и

---

<sup>10</sup> Кимчи – традиционная корейская закуска, квашеные овощи с острым перцем.

спиртное усвоится, – проговорил он, давась от нового приступа.

Когда я вернулся с водой из источника и раздобытой на кухне тарелкой кимчи, Чисана уже не тошнило. Он открыл бутылку зубами и наполнил стопку.

– Все меня осуждают. Только и слышишь: опустившийся, распутник, алкоголик, безнадёжный тип, слуга дьявола, явившийся в монастырь, чтобы своим якобы правдоискательством разрушить учение Будды... Что ещё? Эти тупицы-монахи поносят меня на чём свет стоит. Говорят, я возглавляю ряды падших. Но что такое падение? Нет, в самом деле, они хоть имеют представление о том, что есть падение, а что – блуждания?.. Впрочем, ладно. Я не оправдываюсь. Обитель гения выше людских насмешек. Но я не считаю себя кем-то исключительным. Да и не люблю я всяких гениев. Просто такие вот дела. Да, такие дела...

Он несколько раз встряхнул головой – должно быть, хмель брал своё.

– Я тоже когда-то был таким, как ты. В накрахмаленной выглаженной рясе, с набитой котомкой, похожей на барабан, ходил от одного наставника к другому, твердя про себя сутры. В своё время и я соблюдал строгость во всём. Считал, будто живу по заповедям, а получалось, врал себе самому, обманывал Будду и лицемерил перед людьми, строя из себя святошу... Страшная история. А ведь заповеди добродетели, не говоря уже о Великой Колеснице – Махаяне, подразуме-

вают не действия напоказ, а расположение духа, разве нет? Если подумать, с религией всё обстоит так же. Утверждение, что человек – существо несовершенное, это продукт пораженческого сознания... Необходимо постоянно бороться со своими желаниями, побеждать страсти – только так можно следовать Пути и в конце концов стать буддой... Но вот не получается ли, что на деле впадаешь в самообман, становишься ханжой и лицемером и в итоге превращаешься в ненадёжное существо, которому веки нет спасения?.. Что-то меня развезло. Я пьян. Вообще-то я пью вовсе не затем, чтобы нести такую чушь.

Он снова потряс головой.

– Все кругом пьют, едят, жаждут плоти, трутся телом о тело, проникают друг в друга. Все – за исключением ничтожного числа подвижников. И всё это делается тайно. В укромном месте, вдали от солнечного света, под прикрытием монашеской рясы и касы. Все втихомолку пьют вино, едят мясо и совокупляются с женщинами. А когда выходят из своих тайников на белый свет, то они – сама серьёзность, само милосердие, истинные подвижники. Джекил и Хайд<sup>11</sup>. Двуликий Янус. Две стороны монеты. Эти гелиотропные болотные растения, однако, пользуются у несведущих уважением и почётом, перед ними преклоняются. Они становятся настоящими и кичатся своим саном, который выеденного яйца не

---

<sup>11</sup> Герои новеллы Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886), в которой развивается тема двойничества.

стоит.

Чисан сыпал колкостями, при этом с его лица по-прежнему не сходила ироничная усмешка, адресованная, как казалось, самому себе.

– Они присваивают храмовое имущество, обзаводятся домашним хозяйством, сношаются с пышнотелыми бабами, рожают отпрысков, обеспечивают их... Ладно, допустим, по-человечески понять их можно. Но на этом дело не кончается. Они стремятся накопить состояние и обогатиться – хуторизым странникам-аскетам, разумеется, горько на это смотреть. Тайножёнцы – так их называют... Для таких монастырь всего лишь место работы с весьма недурным доходом. Скажи им, что у падшего ничтожества вроде меня, презреннейшего из всех бродячих пропойц в ордене Ч\*\*, болит душа о буддийской общине, они только рассмеются. Должно быть, решат, что я тронулся умом. Но я говорю искренне. Я болен от чистой любви и от неё сошёл с ума. Что за грех, если вдова и спутается с кем? Женатые монахи – те вообще выставляют всё напоказ. Да что об этом говорить... Хватит. Давай-ка лучше выпьем.

Он осушил стопку, будто мучимый сильной жаждой. Я не мог согласиться с его язвительной критикой. Монашеская община – это огромная организация, состоящая из множества самых разнообразных людей. Естественно, иногда встречаются монахи, отступившие от своего долга. Но ведь такое происходит не только в монастырях. Разве не то же са-

мое случается и в других объединениях? Чисан же говорил об этом так, будто весь буддизм утонул в глубоком болоте продажности и морального разложения.

– Вы не думаете, что перегибаете палку?

– Хе-хе-хе. Ты так считаешь?

– Нельзя же судить обо всём лесе по нескольким сломанным веткам.

– О, Владыка Всевидящий! Какой ты наивный! Что, между прочим, удивительно: шесть лет кряду чистить жертвенный стол – немудрено и самому замараться...

– Да вы хоть знаете, сколько монахов сейчас пытаются достичь просветления! Прямо сейчас, в эту самую минуту, пока вы тут напиваетесь.

– Ну всё, всё.

Чисан отмахнулся, заставив меня замолчать, а потом, будто вдруг обессилев, привалился к стене.

Повисло тяжёлое молчание. Мрачно завывал ветер, натываясь на закрывавшую дверные щели бумагу. Под скатом крыши позвякивал колокольчик. Судорожно вздрагивало пламя свечи. Чисан первым нарушил тишину.

– На самом деле я не это хотел сказать. Кому кого судить?.. В конце концов все вопросы возвращаются ко мне самому... Я – их отправная точка и конечный пункт... Но из таких «я» складывается общество, мир, вселенная... Если я сам в таком положении, придёт ли когда-нибудь царство Будды?.. Это идеал, мечта. Всё это лишь фантазия религиозного ге-

ния Шакьямуни.

Чисан закончил говорить, подобрал колени и, обняв их обеими руками, уронил голову. Из самых глубин его души исходила какая-то необъяснимая печаль.

Что ж, так и есть. Этому не быть. Всё это – лишь мечта. Мечта и иллюзия. Всего-навсего напрасное чаяние, которое испокон веков таит в душе человек.

Я кивнул, но тут же затряс головой. Нет, это не так. Это не может быть мечтой, не может быть иллюзией. Нужно принять вызов, броситься на эту стену. Броситься всем существом – и преодолеть. Я не разочаровался. Времени ещё достаточно. Сдаться добровольно – это трусость.

...На упавших к ногам остриженных волосах весело играли лучи июньского солнца. Я сидел перед павильоном бодхисаттвы Авалокитешвары под старым масличным деревом – осенью с него мешками собирали плоды – и пытался унять сердце, выпрыгивавшее из груди от небывалого возбуждения.

Любой, кто достигнет просветления, может стать буддой. Поэтому «будда» не имя собственное, а имя нарицательное. Будда не бог, он – идеальный человек. Совершенная личность. Тот предел, которого может достичь каждый.

Чик-чик-чик-чик... Острое лезвие ножа касалось волос, покрывавших мою голову восемнадцать лет, и они, точно лепестки цветов, сыпались на землю. Все грязные мирские во-

ждения покидали моё тело. Один человек умирал, а взамен рождался другой, обновлённый. Рассказывали, что, когда впервые бреют голову, многие не в силах сдержать слёзы; я же испытывал лишь томительное волнение при мысли, что смогу стать буддой. Буддой! Ах, я тоже смогу стать буддой...

На сердце было мрачно. Дверь распахнулась. Снаружи стояла непроглядная тьма. Молитва уже отзвучала. Тусклый свет фонарей подрагивал тонким узором на покосившейся каменной пагоде у храма Будды Шакьямуни. Шелестя, падали с деревьев листья.

– Закрой дверь и иди сюда. Расскажу тебе одну интересную историю.

Чисан успел убрать бутылки и теперь лежал.

– Какую историю?

– Про девчонку – про что же ещё? Как я девчонку испортил. История вполне в духе такого падшего ничтожества, как я.

Он зажёл сигарету и начал рассказ.

– В твои годы я проходил практику созерцания при монастыре Ынчукса. Зал для медитации находился в горах, примерно в десяти ли от монастыря. Это прославленное место, с давних времён оттуда вышел целый сонм великих подвижников.

Монастырь Ынчукса, так сказать, известная туристическая достопримечательность; единственное время, когда мо-



нахи могут уединиться, это зима. Вокруг белым-бело, слышен только свист пролетающего за окном ветра, да ещё порой где-нибудь в долине треснет ветка под тяжестью снега. В такие безмолвные зимние дни можно полностью отдаться медитации. Естественно, монахи не жалуют посторонних. Однако и практикующие дзен – прежде всего обычные люди. К тому же многие ещё молоды, кровь кипит, а потому они тоскуют по обществу и прекрасно знают, что такое страх одиночества. А зная это, закрывают глаза, уши, рот и устремляют все силы на хваду – так и коротают дни и ночи.

В ту зиму я практиковал до седьмого пота. Казалось, у меня всё получится. Как будто если ещё себя понудить, что-то и вправду выйдет. Поэтому даже когда время отшельничества закончилось и монахи один за другим ушли, я остался. В зале для медитации остались только я и старый глухой монах. Тот старик, с тех пор как дал обеты, всю жизнь провёл в скиту при монастыре Ынчукса, ни разу не покинув его. Я решил пребывать в уединении независимо от принятого времени затворничества, чтобы докопаться до сути и вырвать проблему с корнем.

Хваду, над решением которого я бился, было знаменитое «Нет»<sup>12</sup>. Как ты знаешь сам, когда один монах спросил мудреца Чжаочжоу<sup>13</sup>, обладает ли собака природой будды, тот

---

<sup>12</sup> Хваду «Нет» также известен под названием «Му», что буквально значит «отсутствие», «без».

<sup>13</sup> Чжаочжоу Цуньшень (778–897) – знаменитый китайский учитель дзен-буд-

ответил: «Нет». Так и появился этот коан<sup>14</sup>.

Что же сказал монах?

Ведь ещё в «Лотосовой сутре» говорится, что все живые существа, всё чувствующее и нечувствующее обладает подлинной природой будды. Так почему же Чжаочжоу отрицает это?

Если согласиться с учителем, это будет предательством по отношению к словам Будды; если возразить – получается, Чжаочжоу лжёт. Ни туда, ни сюда, ни принять, ни опровергнуть – такая вот дилемма... С дилеммы и начинается коан – все тысяча семьсот коанов. Этот холодный, как лёд, мир, не приемлющий ни здравого смысла, ни логики, ни воображения, и есть мир дзен. Дзен – неприступная крепостная стена, гора, океан. Отвергающее все умозрительные догадки, чинно восседающее безмолвное «нет»...

Я томился и томился – так, что казалось, сердце разорвётся. Потом открыл дверь кельи. С неба медленно падали чудные снежные хлопья. Шёл снег, и, как ни странно, ярко сияло солнце.

Я вышел из кельи и направился к источнику. Выпил ковш родниковой воды – немного полегчало. Родник, бывший из глубины скалы, не замерзал и зимой. Вода бежала нескончаемым потоком, а потому не успевала заledenеть. Она была прозрачной, как кристалл. Ни единой соринки – в бук-

---

дизма.

<sup>14</sup> Коан (яп.) – понятие, аналогичное «хваду».

вальном смысле абсолютно чистая вода. Мне подумалось, что такова, должно быть, природа будды, изначально существующая каждому... В воде отражалось моё измождённое лицо: ввалившиеся глаза, впалые щёки – словно это был кто-то другой, а вовсе не я. Вот что делает с человеком проклятое «нет». Я глубоко вздохнул – взиравшее на меня из воды лицо безобразно исказилось.

Вдруг будто что-то защекотало мой затылок. Я поднял голову. Возле павильона патриархов стояла какая-то девушка и не спускала с меня взгляда. Сама маленькая, а глазищи – в пол-лица.

Наши взгляды встретились, она вздрогнула – с её волос и с подола пальто посыпался налипший снег. В то же мгновение вздрогнул и я, сам не зная почему, и почувствовал, как гулко заколотилось сердце. Наши глаза встретились лишь на короткий миг, но он показался мне вечностью. Я вернулся в келью, ощущая спиной, что она на меня смотрит. Когда я вышел готовить вечернюю трапезу, её там уже не было.

Чисан зажёл новую сигарету.

– Удивительная штука судьба, особенно та, что связывает мужчину и женщину. Мы смотрели друг на друга лишь мгновение, а её облик запечатлелся в моём сердце так, что уже не стереть... Разве мог я знать, что тот единственный взгляд низвергнет меня в бездну пустоты и отчаяния... О-о, Владыка Всевидящий...

Его возглас прозвучал словно эхо: будто кто-то крикнул

глубоко в долине, одиноко и безнадежно. Он казался стоном, донёвшимся с морского дна, – стоном моллюска, который отчаялся обрести свою жемчужину...

Так и есть, это и был самый настоящий стон. «О-о, Владыка Всевидящий...» – так взывают проклятые узники, отказавшиеся от всего, но не сумевшие ни с чем расстаться... Осуждённые на вечные века бескрылые птицы, что кружат в крошечной тьме над чёрной морской пучиной... Птицы, клюющие собственную плоть в бесконечном круговороте перерождений...

Я перевернулся на живот, подложив под грудь деревянную подушку, и ждал продолжения.

– Через несколько дней я спустился в монастырь за провизией. Взял рис и свечи, повесил котомку за спину и пошёл было обратно в скит. Тут слышу – кто-то меня окликнул. Обернулся, вижу – она. Бежит за мной. И видно, давно бежит: лицо горит, волосы растрепались. У меня снова запрыгало сердце, я покраснел до самых ушей и уставился себе под ноги. А она мне: вот, мол, почитайте. Только тогда я смог поднять на неё взгляд. Она протягивала какую-то книжицу. У самой лицо серьёзное, ни тени улыбки. Это было старое карманное издание в потёртой обложке. Вручив мне книгу, она тут же побежала вприпрыжку, будто горный зверёк, и скоро скрылась за Вратами небесных владык.

Я вернулся в скит, дождался темноты и при свете свечи открыл книжку. Это был японский роман. Я пролистал

несколько страниц – чтение меня не увлекло, однако в глаза бросились подчёркнутые красным строки: «...С тех пор как я осознал, что моё тело не познало женской любви, оно вдруг стало занимать меня больше, чем разум. Но я не мог превратиться в чистое желание, а только мечтал об этом. Я становился ветром, всевидящим невидимкой, легко подлетал к своей цели, обласкивал её с головы до ног и наконец проникал в неё... Когда люди говорят об ощущении своего тела, они скорее представляют некую плотную материю, имеющую определённую массу. Я же думаю иначе. Завершиться в едином теле, в едином желании – значит сделаться прозрачным, незримым, значит стать ветром...»

Меня объяло странное чувство. Я заподозрил, что девчонка меня проверяет. Насмехается над монахом, подсовывая какой-то графоманский бред... Я отбросил книгу, сел на подушку и устремил все мысли на хваду. Только странное дело – «нет» куда-то исчезло, а вместо него в уме стоял образ маленькой девушки с огромными глазами...

Чисан с шумом выдохнул длинную струю табачного дыма.  
– ...В конце концов я её разыскал. А что мне оставалось? Простой смертный, которому не стать буддой, почуял запах женщины...

Она жила с подругой в монастыре. Обе были студентками и на каникулах решили заняться духовной практикой. Я встретился с ней, якобы чтобы вернуть книгу. Пришёл, помялся, как дурак, и ушёл. А что сказать? Хе-хе-хе. Монаху

подобает смотреть на женщину, как змею... А она пошла за мной – мол, проводить.

Мы проходили через Врата небесных владык, как вдруг одна створка с грохотом захлопнулась. Девчонка вздрогнула и схватила меня за руку. В смятении я тоже сжал её ладонь. Как ни крути, а я, похоже, изнывал от желания. Хе-хе-хе... Вот так я впервые поцеловал женщину – прямо под носом у Небесного владыки, стоявшего наперевес с мечом Голубого дракона и тарачившего на нас свои круглые глаза... После этого ворота так же с грохотом распахнулись. Я не оглядываясь бегом ринулся в гору. Сзади доносились удары колокола – начиналась вечерняя служба.

Наверно, виноват был ветер. Ветер... Но я должен его благодарить. Благодарить бодхисаттву-ветер за то, что открыл передо мной дверь и положил конец моим долгим-предолгим блужданиям. Хе-хе-хе...

Какое-то время Чисан сидел и посмеивался, точно был не в своём уме, а потом продолжил:

– Я вернулся в скит и всю ночь не мог уснуть. Я коснулся женских губ, а значит, уже нарушил обет... Благочестивый монах в одно прекрасное утро пал в самый ад из-за какой-то девчонки. Впрочем, этот благочестивый, возможно, раньше просто не встречал соблазна для падения. Да, соблазна... Видно, в глубине моей души изначально гнезвился порок и только ждал своего часа, чтобы вырваться наружу...

А на другое утро она пришла ко мне. Это было неожидан-

но... Я взял её за руку, отвёл в боковую комнату и без лишних прелюдий повалил на пол. Однако она ничуть не испугалась. Закрыла глаза и лежала спокойно... Я дал волю рукам, дрожавшим от возбуждения и страха, и нащупал её сокровенное...

...Мир, который я знал до сих пор и в который верил, рухнул.

...Когда мужчина и женщина ложатся в два слоя, живот к животу, это полностью отвечает буддийскому принципу недвойственности, согласно которому существование и мир не разделены, а изначально едины. В мире всё друг с другом примиряется, существование обретает пространство универсального сознания, а потому любые конфликты и борьба отныне бессмысленны... Я испытал тогда истинное наслаждение. Оно выросло из краха моих заблуждений – ведь я считал тело лишь слугой души. И в то же время его порождала обретенная и подтверждённая универсальность моей сущности как самца.

Но есть ли на свете что-нибудь столь же безнадежное, как такой двухслойный союз? Наслаждение длилось только миг, после чего существование и мир вновь образовали две параллельные прямые... О, Владыка Всевидящий... Когда, скрежеща зубами от безнадежности, я коснулся лбом ледяного пола, за стеной вдруг раздался стон глухого старика-монаха: «Нет!» Смешно, но мне открылось значение хваду.

А через несколько дней случилось несчастье. Её подруга

напилась снотворного, и какой-то тип надругался над ней. Меня забрали в полицию, обвинили на пустом месте. Кому-то настолько претили наши отношения, что на меня донесли. Настоящий преступник не объявился, так что виновным невольно оказался я. Хе-хе-хе. Это нужно было видеть. И в газетах писали, и по телевизору показывали... В еженедельнике вышла огромная статья, где меня называли насильником... Заголовок был соответствующий: «Девушки, держитесь подальше от монастырей!»... У всех молодых мужчин в округе проверяли сперму. В конце концов светопреставление закончилось и меня отпустили, но... Да что говорить. Это такой позор, такое унижение... В жизни не забуду... Моё имя вычеркнули из монастырского списка. Впрочем, всё к лучшему. Как отступник, это я ещё легко отделался.

Чисан беспокоино заворочался.

– Чокнутая девка. Что за блажь – травиться в монастырской келье? Да что эта пигалица знает о тщете жизни?.. Когда меня отпустили, я поехал за своей зазнобой в Сеул. Я следовал за ней всюду, как одержимый. Хе-хе-хе. Монах слоняется по улицам столицы за руку со студенткой. Где я только не побывал в монашеской рясе! В кофейнях, в трактирах, в мотелях... Раз добрался до её университета. Там шёл какой-то фестиваль – студенты танцевали в парах. Мне-то откуда такое уметь? Просто повторял за ней – она вела. Хе-хе-хе. Наверно, я первый и последний монах, танцевавший на



студенческой вечеринке. О, Владыка Всевидящий!

Но, как я уже сказал, нет на свете ничего безнадежнее двухслойного союза. Смешно то, что, хоть я и скрежетал зубами, уткнувшись лбом в пол, опустошенность скоро отпустила и опять одолевало желание слиться с ней. Потом снова опустошенность и снова желание... А-а, так может, потому мир сансары и длится бесконечные калпы<sup>15</sup>... Неделью мы околачивались по мотелям, вращая порочное колесо сансары, а потом нагрянули её родители. Тогда я наконец осознал свой статус: ведь я монах.

Скрепя сердце я развернулся и пошёл прочь, как будто ничего не было. Но не успел сделать и несколько шагов, слышу – зовёт. Я было подумал, она хочет подарить мне что-нибудь на память, обернулся. Всё эта постыдная привязанность. О, Владыка Всевидящий! А она кричит: юбку верни! Она клала свою одежду в мою котомку. Я покопался, смотрю – и правда, юбка. Хе-хе. Только представь себе картину: среди бела дня на столичной улице, где народа пруд пруди, монах достаёт из котомки женскую юбку...

Он уткнулся лбом в пол и простонал:

– Так нельзя... О-о, правда, так нельзя...

---

<sup>15</sup> Калпа – самая крупная единица измерения времени в буддизме, время от рождения до гибели мира.

Я изменил свои планы и, вместо того чтобы отправиться в провинцию Канвон, остался в монастыре Пёгунса. По просьбе настоятеля я взял на себя руководство буддийской школой, но на самом деле меня удерживало горячее любопытство к Чисану, этому странному монаху-отступнику.

Всё то время, пока я жил в монастыре, Чисан пил не просыхая. Изредка случались трезвые дни – тогда он сидел словно в забытии, потерянно глядя в пустое пространство, опустошённый и угрюмый, и зывал к самому себе, беззастенчиво величая себя бодхисаттвой: «Бодхисаттва Чисан! Бодхисаттва Чисан!» – тоном, нагонявшим на слышавших странную тоску. Ни настоятель, ни прихожане не обращали на него ровно никакого внимания, будто вообще не признавали его монахом, а то и хуже – за человека не считали. Даже ученики буддийской школы кривили губы и бросали на него взгляды, полные нескрываемого презрения; Чисан же оставался невозмутим. Никто не желал сближаться с ним, да он и сам никого к себе не подпускал. Я прожил в монастыре уже месяц, но, кроме того первого дня, мы с ним больше не обменялись ни единым словом. Он взглядом держал меня на расстоянии, а может, даже презирал и думал про себя что-нибудь в таком роде: «Пускай меня считают опустившимся ничтожеством, но ты хуже, ты – ханжа, мошенник, окружив-

ший себя ничего не сведущими детьми и торгующий именем Будды». Мне казалось, я что-то знаю об этом падшем монахе, но на самом деле я не знал ничего. Меня снедала тревога. Я сам не понимал, что меня гнетёт.

Я распахнул дверь. В комнату с шумом ворвался ветер. Свеча отчаянно затрепетала. Я посмотрел в сторону гостевой – там горел свет. Меня захлестнуло неодолимое любопытство: что в этот поздний час делает Чисан?

Я без нужды направился к уборной и заставил себя облегчиться. Потом на цыпочках подкрался к гостевой. Изнутри доносились странные звуки – то ли пение, то ли сдавленный плач. Я прижался ухом к дверной щели и услышал слова молитвы. Чисан взывал к самому себе: «Бодхисаттва Чисан, бодхисаттва Чисан». Сдерживая улыбку, я отстранился от двери.

– Входи, Побун, – вдруг раздался его спокойный голос. От неожиданности я опешил. Немного помешкав, я всё же вошёл в комнату.

Чисан сидел сгорбившись и походил на призрак. В правой руке он сжимал монашеский нож для бритья, между колен удерживал небольшую деревянную чурку.

– Садись.

Даже не взглянув на меня, он продолжал, как одержимый, тесать деревяшку.

– Что вы делаете?

– Будду.

– Что?

– Чему ты так удивлён? Я делаю Будду. Хочешь взглянуть? Уже почти готово.

Я приблизился, посмотрел на кусок дерева, который яростно обтёсывал Чисан, и вскрикнул. Он был страшен, Будда с лицом, искажённым бесчисленными страданиями и омрачениями, какие только есть в этом мире...

– И это, вот это – лицо Будды?..

Мой голос дрожал. Чисан улыбался, в уголках его губ собрались морщины.

– А что? Тебя удивляет его неприглядный лик?

Чисан отложил нож и деревянную фигуру в сторону и зажёг сигарету.

– Просто ты не так всё понимаешь. Ты до сих пор видел тысячу раз одно и то же – благообразного Будду. Все эти будды в храмах как на подбор круглолицые и благодушные. Все лучезарно улыбаются. Однако они хранят молчание. Молчат целую вечность. Обычно говорят, что у Будды загадочная, непостижимая улыбка, что при одном взгляде на неё все страдания уходят... Так ли это на самом деле? Думаешь, рядом с этой улыбкой все страдания живых существ и правда исчезают? Если Будда не бог, а человек, разве может он лишь непреклонно молчать с невозмутимым видом? Даже сейчас, в эту минуту, сколько несчастных в мире стонут от голода, болезней, томятся в неволе, изнывают от притеснений власть имущих и толстосумов... Может ли он только мило улыбаться-

ся в ответ? Это не человеческое лицо. Не лицо человека, который плачет, смеётся и страдает из-за ничтожнейших, как пыль, прихотей судьбы. Если Шакьямуни был человеком и пришёл в этот мир ради людей, не должна ли хотя бы одна его статуя иметь лицо мученика, познавшего тоску, печаль, гнев – все восемьдесят четыре тысячи ядов? Разве он не должен плакать и смеяться вместе со всеми? Ты думаешь, можно любить Будду с нечеловеческим лицом?

Чисан смотрел на меня пронзающим взглядом. Я затаил дыхание.

– Все эти ваятели статуй благодусшных будд, которые стоят в наших монастырях, – двуличные типы, псевдо-художники. Бездушные призраки. Я хочу показать настоящее лицо Будды, поэтому без конца терзаю эту деревяшку. Так я словно стачиваю собственную гнилую кровь, тлеющие кости, смердящую плоть. А ещё выполняю священный долг: замещать страдания – бодхи<sup>16</sup>. Даже, пожалуй, не замещать, а объединять одно с другим.

Он бросил докуренный до фильтра окурок в пустую бутылку от сочжу, а потом сунул мне прямо под нос деревяшку с искажённым лицом Будды.

– Взгляни-ка получше. Ты не находишь между нами сходства? Так и есть, мы все похожи. Ведь я – это другое лицо Будды, а он – моё другое лицо. Наше второе лицо – это лицо Будды, его второе лицо – мы. Выходит, человеку прису-

---

<sup>16</sup> Бодхи – пробуждение, осознание.

ща такая двойственность: с одной стороны, он имеет лицо обычного живого существа, с другой – лик просветлённого.

Чисан снова взял нож и принялся одержимо обтёсывать деревяшку; при каждом движении его глаза ярко вспыхивали. По бледному лицу скользила жуткая тень. Это был облик озлобленного привидения.

Пошатываясь, точно пьяный, я покинул гостевую. В лоб ударила ночная прохлада.

...Птица по-прежнему не шелохнётся. Упёрлась ногами в землю, словно вовеки не полетит. Отвернувшись от пространства и времени, в упрямом окоченении, отказывается махать крыльями, забыв свой долг – летать. Лишь временами мрачно и отчаянно вскрикивает, будто желая убедиться, что ещё жива...

О-о, ещё один день канул в небытие. Поёживаясь, я поднял взгляд. Серое небо тяжело нависало над кроной масличного дерева, уже потерявшего половину своей листвы. В этом океане скорби светила одна-единственная звезда, точно душа Будды...

Я будто наяву услышал «Плач» Рильке:

Хочу из сердца вырваться скорей  
и под огромным небом очутиться.  
И молиться.  
И среди всех звёзд

должна быть ещё одна.

Я знаю, верю:

она

вживую свет свой струит

и как белый город стоит

на небе – в конце луча...<sup>17</sup>

Я потрянул головой... Рильке не мог видеть ту звезду. И Будда не мог. Та звезда – сама тайна.

Так и есть. В самом деле, что же такое та неведомая звезда, которую не знаю ни я, ни кто-то другой, ни даже сам Будда? А может, это всеобщее неведение, наоборот, значит, что мы все прекрасно её знаем? Может, её явственность и сбивает нас с толку? Как же тогда быть? В самом деле, как мне быть?

Поёживаясь, смахивая с лица липкий, как слюна, туман, пробираясь сквозь глубокий мрак, я пересёк двор, на который, точно вор, ползком крался рассвет, и направился в зал Дхармы.

Я открыл дверь – изнутри пахнуло дымом благовоний. Насупал в темноте спички, зажёл одну. И вот Он, Будда: точно солнце, восходящее среди густого мрака; точно внезапное пробуждение. Его непостижимая улыбка. Вечная улыбка. Кажется, Он хочет что-то сказать. Однако Он безмолвен. Нет, Будда не молчит. Он и сейчас, в эту самую минуту, безуданно растолковывает живым существам восемьде-

---

<sup>17</sup> Рильке Р. М. «Плач». Перевод В. Летучего / Райнер Мария Рильке. Собрание сочинений в 3-х томах. Том 1. М.: Престиж Бук, 2012. С. 220.

сят четыре тысячи законов Дхармы – каждому по его способностям. Просто мы не слышим. Неведение сделало нас глухими, поэтому мы не слышим Его... Но отчего Твоё лицо так печально? Не оттого ли, что грустно мне, живому существу?.. Я воскурил благовоние и поднёс к Его ногам. Тонкая дрожащая струйка дыма потекла, точно плач, и рассеялась у его колен. Я накинул касу, взял моктак<sup>18</sup> и вышел из храма. Снизу, из-под горы, доносился собачий лай. Где-то кричали петухи. Дома в темноте походили на стоящие плечом к плечу согбенные фигуры. Казалось, мой слух улавливал щебет де-творы, приглушённый шёпот супругов, добродушный смех. Внезапно меня захлестнуло одиночество. Я резко потрянул головой и, чтобы пробудиться, принялся стучать в моктак.

...Обретаю прибежище в вечном и бесконечном Будде, Дхарме и Сангхе<sup>19</sup>. Молю, ниспошлите на меня своё благословение. Мы отвернулись от своей подлинной сути и погрязли в неведении. В волнах рождений и смертей мы запя-тались красками и звуками, сделались порочными, алчными рабами страданий...

Я сел напротив колокола. Его чёрная свинцовая масса давила на грудь, точно непреодолимая стена. Я взялся за бревно, тихо закрыл глаза и напряг руку. Удар, за ним другой полетели далеко-далеко, рассекая ночной мрак...

---

<sup>18</sup> Моктак – деревянный ударный инструмент, используемый буддийскими монахами во время молитвы.

<sup>19</sup> Сангха – буддийская община или сонм существ, достигших просветления.



Даже если я познаю всю свою ничтожную душу,  
выпью всю воду из огромного моря,  
постигну конец вселенной и оседлаю ветер –  
даже тогда мне не описать твой образ.

О, Будда Амиабха, Будда Амиабха, Будда  
Амиабха...

О, Наполняющий собою пространство.

О, Великое Учение.

О, преданные его последователи.

Чистой душой,

мудрой душой,

безвинной душой,

неколебимой душой

вверяю вам свою жизнь.

Вверяю свою жизнь,

к вам прибегаю, на вас полагаюсь...

О, бодхисаттва Манджушри, бодхисаттва  
Самантабhadра, бодхисаттва Махастхамапрапта,  
бодхисаттва Майтрея, бодхисаттва Кшитигарбха. О,  
Владыка Всевидящий, Авалокитешвара...

Но никто не явился: ни Будда Шакьямуни, ни Будда Амиабха, ни Всевидящий Владыка Авалокитешвара, ни кто-либо из бодхисаттв. Даже их тени не промелькнуло. Я лишь наполнял пустой сосуд воздухом. Наполнял его ветром. Лунным светом. О-о-о... Я отбросил моктак. На заплетающихся ногах доковылял до своей кельи, повалился на стол и зары-

дал.

В самом деле, в чём заключалась суть моих отчаянных шестилетних поисков? Я пожертвовал юностью, корчившейся от мучительной жажды – что такого я ожидал обрести взамен? Уж не свою ли истинную натуру: подлую, бездарную, грубую, гадкую, алчную, исполненную лицемерия – самую отвратительную на свете мерзкую душонку? Так может, этот шестилетний путь был необходим, чтобы убедиться, кто я есть на самом деле? Имею ли я право судить отступников вроде Чисана? Разве я сам не заслужил ещё большего осуждения и порицания? Колеблющийся, слабовольный, нетерпеливый, пылкий – однако быстро остывающий, вялый, нерадивый, трусливый, нерешительный; знающий, где истина, но не находящий в себе смелости действовать; о-о-о, а хуже всего – бесхарактерный... Разве такой человек заслуживает жизни?

А ведь я считал, что должен наставить на праведный путь блуждавшего Чисана, безразличного ко всему на свете, опустошённого и впавшего в глубокое уныние. Какой вздор!

Чисан говорил, что ему всё равно: пускай даже весь белый свет его осуждает и считает падшим. В основе его блужданий была своя философия, и он считал её истиной. По его убеждению, даже падение, если оно случилось искренне, может быть одним из способов достичь просветления. Он говорил, что религия необходима тем, кто живёт в лицемерии и фальши, руководствуясь принципом взаимного обмана, – чест-

ным натурам религия не нужна. Поэтому, когда его поиски потеряют смысл, он собирался без всяких сожалений покинуть этот мир. В доказательство Чисан вытащил из поясного мешочка пузырёк с каким-то снадобьем и показал мне. Он называл себя псевдо-скитальцем, псевдо-отступником и признавался, что это его терзает.

Мне нечего было ему сказать. Я чувствовал, что всё больше склоняюсь в его сторону, и поражался этому. Так кто кого вёл за собой? Я не знал, чья дорога верна: его или моя. Мне даже думалось, что, возможно, он в самом деле выбрал правильный путь. Если Чисан не стал истинным буддистом, то и я не мог считать себя таковым. Я лишь изображал из себя благочестивого монаха, добросовестно совершая утренние и вечерние молитвы. Когда глубокой ночью в окно светила яркая луна и сухой ветер бился в дверь, мучимый одиночеством, я судорожно цеплялся за хваду, разрываясь между двумя полюсами: страданием и просветлением. Хотя считается, что страдание и просветление изначально не противопоставлены – принцип, открытый Буддой, – всё же это явно две разные вещи, а Будда и живые существа – два полюса, параллельные прямые, которым никогда не слиться. Осознавая это, продолжать вещать юным ученикам о Будде и его учении действительно нелепо. Надо, чтобы люди стали немного честнее с самими собой. Ведь только хладнокровно вывернув душу наизнанку, можно уловить хотя бы свою тень. Быть может, именно Чисан, который полностью обнажает себя и

всеми силами борется с одиночеством и опустошённостью, происходящими от этой наготы, – может, именно он и есть истинный правдоискатель. После того как судьба случайно свела нас, мне всё чаще не давали спать сомнения в выборе монашеского пути и разочарование в жизни.

Однажды на исходе осени мы с Чисаном покинули монастырь Пёгунса.

По улице двигался поток людей: одни торопились, другие шли не спеша; лица были радостны или печальны, сердиты или веселы. На автобусной станции из-за скопления прибывших и отъезжавших пассажиров царил суеда, как на рыбном рынке. Мы сидели в зале ожидания и бездумно смотрели на входивших и выходивших.

– На вокзалах я чувствую себя не в своей тарелке. Как-то маятно, – пробормотал Чисан. – Всем есть куда ехать – только не мне. Мне ехать некуда. Я не знаю, куда податься...

– Надо идти в горы. Идти и постигать учение. Для монаха нет другого пути, кроме гор.

– Это верно. Надо идти в горы. Идти в горы и учиться.

– Поедёмте в монастырь Хеинса! Попросимся на постой, будем всю зиму подвизаться. Испытаем себя до конца. Как вам такое?

– В Хеинса... Да разве меня пустят? Думаешь, позволят остаться без монашеского удостоверения?

– Что вы... Это всего лишь бумажка – какая разница, есть

она или нет? Да, вас исключили из монашеского ордена, но, если проявить горячее рвение, кто посмеет отказать?

– Да нет, я не о том. Дело не в монастыре.

– Тогда в чём?

– Вопрос в том, имею ли я чёткое понимание проблемы, чтобы биться над её решением.

– Разве существует что-то невозможное? Попробуем, испытаем себя до конца. Представим, будто мы ещё не родились в этом мире...

– Я продолжу свои скитания. Буду бродяжничать под видом павшего монаха.

– Ну что вы...

– Буду скитаться, как и раньше. Блуждать и блуждать – ведь для меня это тоже один из путей решения проблемы. Ещё немного усилий – и блужданиям придёт конец. Тогда останется уйти. Уйти туда, откуда не возвращаются.

Чисан скривил губы в горькой усмешке. Я вспомнил про пузырьёк с ядом и покосился на его поясной мешочек, чувствуя, как по спине пробегает дрожь. В пузырьке был цианистый калий – этим порошком убивали фазанов. Я мысленно потряс головой.

– Вы можете и сейчас вести монашескую жизнь. Какая нужда в удостоверении? Во времена Будды один монах семь раз нарушал заповеди, и всё равно его снова и снова принимали в монастырь...

– Побун, ты не понимаешь моих слов! Я не об этом. Эта

не какая-нибудь метафизика, вроде того, что, не зная, откуда пришёл, не узнаешь, и куда идти. Меня терзает проблема вполне физическая, реальная. Я просто огорчён: как ни прискорбно, нет ни малейшей надежды допустить, что где-то меня ждёт край, в котором найдётся подходящее для меня место и где мне будет гарантирована свобода одиночества; что можно купить билет с конкретным пунктом назначения, сесть в автобус и поехать туда. Ведь я лишён этой свободы одиночества, потому и не задерживаюсь нигде дольше месяца. Как бы я был счастлив, если бы никто и ничто в этом мире, даже сам Будда, не вмешивались бы в мою жизнь и я мог бы остаться всецело наедине с собой...

– Кажется, я знаю один такой храм. Это очень тихое место. Настоятель там – мой старший брат в Дхарме, он вас примет. Чисан медленно покачал головой.

– На самом деле никакой срочности нет – дело не в том, что мне некуда податься. Если считать проблемой это, то волноваться не о чем. В конце концов я найду себе приют, где-нибудь прибьюсь. Мне ещё не случалось остаться без крыши над головой... Наверное, проблема в духе... Этот проход, в который протиснешься одной-единственной чистой, как соджу, костью, после того как сгорит плоть и выкипит кровь. Единое, имеющее власть продавать и покупать души. Площадь душ, где все они, умерев, могут родиться вновь... О-о, это жгучее пламя, способное меня убить и возродить к жизни! Оно остыло, словно сухой пепел, и вот я в

недоумении сижу на станции, где все куда-то уезжают...

Отправившись вслед за мастером Чиамом в горы, я вскоре обрил голову и начал послушническую жизнь. Я трудился изо дня в день не покладая рук: готовил трапезу на тридцать с лишним человек; варил рис для подношений, совершавшихся три-четыре раза в сутки; убирал в помещениях и выполнял всевозможные поручения старших, однако всё это было мне ничуть не в тягость. Когда я сидел на корточках возле печи и, постукивая по ней кочергой, твердил «Сутру тысячи рук и глаз»; когда бежал в храм с медной чашей жертвенного риса; когда простирался в земном поклоне у ног Будды Шакьямуни; когда приносил своё измочаленное тело в келью послушников и засыпал мёртвым сном – я всё время думал о той птице в бутылке.

Так прошло полгода, и я дал десять обетов. На моей левой руке горел фитиль<sup>20</sup>. Монах-наставник вопрошал:

– Во-первых, обязуйся не убивать. Убийство живых существ сократит число твоих дней в последующих жизнях, а погибшие от твоей руки станут толпами преследовать и истязать тебя. Обязуешься ли не убивать?

– Обязуюсь, – твёрдо обещал я.

– Во-вторых, обязуйся не воровать. Присваивая чужое, человек лишается зерна счастья и удачи, а в последующих жизнях рождается нищим и безродным. Обязуешься ли не во-

---

<sup>20</sup> Во время церемонии посвящения на левое предплечье будущего монаха прикрепляется маленький фитиль.

ровать?

– Обязуюсь.

– В-третьих, обязуйся воздерживаться от блуда. Предающийся разврату в последующих жизнях родится глупцом с помрачённым разумом и будет терпеть поношения от людей. Обязуешься ли не совершать блуда?

– Обязуюсь.

– В-четвёртых, обязуйся не лгать. Лживый лишается зерна истины, ему перестают верить, и все его дела обречены. Обязуешься ли не лгать?

– Обязуюсь.

– В-пятых, обязуйся воздерживаться от спиртного. Упивающийся вином лишается зерна мудрости; он не слушает добрых, благих наставлений мудрецов, а следует порочным, безрассудным наветам демонов-совратителей. Его отравляют яды алчности, злобы и неведения; одолевает лукавая, жестокая зависть. Порабощённый десятью великими грехами и восемью страшными помрачениями, он низвергается в ужасные низшие миры<sup>21</sup>, откуда вовеки нет спасения. Обязуешься ли не пить вина?

– Обязуюсь.

– Обязуешься ли не носить дорогих украшений и не умащать тело благовониями?

– Обязуюсь.

---

<sup>21</sup> Три низших мира в буддизме: мир животных, мир голодных духов и мир адских существ.



– Обязуешься ли не петь песен, не танцевать и избегать подобных зрелищ?

– Обязуюсь.

– Обязуешься ли не спать на высоких и роскошных кроватях?

– Обязуюсь.

– Обязуешься ли не иметь золота, серебра и прочих драгоценностей?

– Обязуюсь.

– Обязуешься ли не вкушать пищи в неположенное время?

– Обязуюсь.

Обязуюсь, обязуюсь, обязуюсь...

Каса, роба, чаша для еды, котомка – всё необходимое для монашеской жизни, как и моё буддийское имя Побун, досталось мне от монаха-затворника Чиама. Я стал его учеником.

Однажды, когда уже пробил полночный колокол, мне передали, что наставник зовёт меня к себе. Келья старого монаха-затворника была истинной обителью мастера дзен: от голых стен веяло суровостью и торжественным покоем. Я трижды простёрся в земном поклоне и опустил на колени. Наставник, похоже, пребывал в самадхи<sup>22</sup>: он сидел опустив веки, а его лицо было всё так же прекрасно и все так же строго.

Наконец он открыл глаза и коротко спросил:

– Достал птицу?

---

<sup>22</sup> Самадхи – состояние особого погружения, достигаемое во время медитации.

Я перестал дышать. По спине покатился холодный пот.  
– Даже не знаю... – тихо ответил я.

Наставник жестом велел мне уйти. Я снова трижды поклонился и на цыпочках шагнул к двери. И тут за спиной раздался его стальной голос – мне словно вlepили подзатыльник:

– Узнать то, чего не знал, – это прозрение. А прозревший и есть будда.

Мой день начинался птичьими криками. Они раздавались то и дело с утра до ночи и снова – с утра до ночи: унылые, отчаянные крики. Они превратились в звон в ушах и ввергали меня в омут бессонницы. Я бился, чтобы вытащить из заточения надрывающуюся птицу, но чем больше старался что-либо сделать, тем сильнее сжималось горлышко бутылки, и я утопал в темноте.

Издаleка донеслись паровозные гудки. Долгие и протяжные, они понемногу ускорились и наконец растворились в шуме ветра. Чисан сидел с опущенной головой, спрятав руки в рукава, и смотрел себе под ноги. Я поднял взгляд на небо. Оно было хмурым – казалось, вот-вот польёт дождь.

– Пожалуй, я поеду с вами.

– Сентиментальность. Сентиментальность – мать блужданий.

– Я хочу знать, где та причина, что гонит вас в путь.

– Думаю, в конце концов мои блуждания начались из-за

того, что я не был честен с самим собой. Не имел стержня честности, и не на что было опереться. Однако считать это причиной нельзя – это тоже не будет точным ответом.

Он резко тряхнул головой.

– О-о, я и сам не знаю, почему скитаюсь, точно бешеный пёс... Я не знаю – это единственное, что я могу сказать с уверенностью.

– Так вас привела в монастырь сентиментальность?

– Пожалуй. В итоге так оно и было. Наверно, я осознал, насколько тщетны порождаемые ею чувства, – это меня и подтолкнуло. Впрочем, будь то не сантименты, а доводы разума, острого, как лезвие ножа, – какая разница? Как ни прискорбно, я увидел, что мои возможности ограничены, что я блуждаю в аду отчаяния... Даже не это – я узнал душу Будды и понял, что тот буддизм, на который я возлагаю надежды, – не сказка о заоблачных небесах, а быль городских улиц, где люди, выживая ребро к ребру и промокая до костей, обливаются потом, смеются и плачут, любят и ненавидят. Мне открылась эта правда реального мира. Я узнал её, но не познал. Меня пугает, что опыт принесёт с собой страдания, потому я избегаю его. Вырядился в монашескую рясу и трижды в сутки забираю у людей пищу, которую они добывают в поте лица. Для меня и в аду оказаться – слишком большая честь. Какое я имею право обличать продажность, поразившую наши монастыри? Раз я не могу посвятить всю свою жизнь борьбе с этим злом, чтобы полностью его искоренить, не разумнее

ли вернуть монашеские одежды и уйти?... Ведь так я всего лишь гнусный пособ-ник.

На заострённом, как нож, лице Чисана лежала тяжёлая тень обречённости. Я с горечью схватил его руку и потряс.

– Почему вы постоянно об этом говорите?

Торопливо сновавшие мимо люди косились на нас.

– Побун, ступай в монастырь и медитируй. Попробуй устоять на острие. Одной ногой. А когда достигнешь пробуждения, покажешь путь таким, как я.

Смешно, но от этих слов во мне проснулось что-то вроде жалости к Чисану. Жалость – самая мелкая монета любви...

– Идёмте вместе, – упрашивал я. – Пробудем в монастыре хотя бы до начала затвора.

– Пусть будет по-твоему, – светло улыбнулся Чисан. – Только рядом с пропащим тебя самого сочтут таким и тоже погонят прочь.

Автобус вдруг остановился. В салон вошёл крепкий малый в камуфляжной униформе, с карабином в руке. Проверка случилась на региональном шоссе – до посёлка С. было рукой подать. Мы с Чисаном сидели в самом конце салона. Как ни странно, вошедший сразу направился к нам.

– Документы, – грубо и жёстко потребо-вал он.

Я порылся в кармане и вытащил удостоверение. Камуфляжный, почти вырвав карточку у меня из рук, пробежал по ней глазами и вернул.

– Монашеское удостоверение.

– Монашеское удостоверение? – переспросил я. Камуфляжный кивнул своим мощным подбородком. Карабин в его руке грозно качнулся. Я молча достал удостоверение.

– Ну, – он указал подбородком на Чисана.

– К чему всё это?

Чисан со своего места взирал на камуфляжного и не шевелился. Тот внимательно, с ног до головы, оглядел сидящего перед ним костлявого монаха в изношенной робе и коротко приказал:

– Монашеское удостоверение.

– У меня его нет.

Камуфляжный подозрительно прищурился.

– Как это нет? Разве монаху не положено иметь удостоверение?

Чисан усмехнулся.

– Какие доказательства нужны монаху? Какие ещё есть доказательства убедительнее бритой головы?

Камуфляжный приподнял карабин. Раздался неприятный металлический лязг.

– Чудило. В такое время разъезжать без документов. На выход.

– Подождите... он же...

Я попытался вступить за Чисана.

– Без возражений – на выход, – грубо отрезал камуфляжный и отвернулся.

Помолчав мгновение, Чисан снял с полки обвисшую, как бычье яйцо, котомку и закинул за спину. Потом, криво улыбувшись, посмотрел на меня.

– Ты поезжай. Обо мне не беспокойся. Будет судьба – ещё свидимся.

Продираясь сквозь любопытные взгляды, Чисан двинулся по проходу. Я поспешил за ним, на ходу надевая котомку.

Раскрашенный маскировочными пятнами контрольный пункт стоял за небольшим бугром, на который взбиралась дорога. Внутри было необжито и уныло. У стола, задрав на столешницу ноги, сидел человек в такой же форме, что и камуфляжный, и стриг ногти. Увидев нас, он зевнул.

– Ну так что, документы у вас есть?

Камуфляжный, опираясь на карабин, смерил Чисана взглядом.

– Сроду ничего такого не имею.

– Что? Ты кому, чудило, голову морочишь?!

– Монахом я так и не стал, так что монашеского удостоверения нет. Гражданином тоже не стал – документов не имею. Я нигде не зарегистрирован. Что ещё сказать?

– Языком чесать ты горазд.

Камуфляжный приблизился к Чисану, будто собираясь ударить его.

– Забавный ты, приятель, – фыркнул стригший ногти. Я схватил камуфляжного за рукав.

– Подождите... Я могу подтвердить...

– Не лезь!

Камуфляжный прикладом ткнул меня в живот. Я еле удержался на ногах. Меня сковал страх, и я больше не смел открыть рта.

– Что там у тебя? – камуфляжный потыкал дулом карабина котомку Чисана. Тот по-прежнему криво улыбался.

– Ворох страданий. Что, желаете взглянуть?

Чисан снял котомку и вывалил вещи на стол. Каса, полотенце, зубная щётка, паста, общая тетрадь, несколько смен нижнего белья и фотоальбом – вот и все его пожитки.

– Простите. Надо бы избавиться от этого хлама, – пробормотал Чисан, будто говоря с самим собой. – Да и от этого брэнного тела тоже... Только так можно освободиться... Хотя бы прикоснуться к свободе...

Камуфляжный взял в руки альбом. На каждой странице были аккуратно вставлены фотографии Чисана. Пожелтевшие, выцветшие снимки, точно шрамы жизни, – история десятилетнего монашеского пути. О да, это было лицо монаха.

– Похоже, ты и правда монах... А ну, давай-ка помолись.

Камуфляжный теперь решил от души позабавиться. Мне хотелось зарыдать. Из-за страха перед карабином ничего не оставалось, как молча сидеть в углу.

– И вы меня отпустите?

Камуфляжный приставил карабин к стене, сел на стул и зевнул.

– Ну давай, выдай класс. Я по молитве сразу пойму, насто-

ящий ты монах или прикидываешься... Ох, как же я устал!

Чисан прижал ко рту кулак, несколько раз прочистил горло, потом прикрыл глаза и затянул нараспев «Дхарани Великого Сострадания»:

Намо ратна-траяя  
Намах арья авалокитешварая  
Бодхисаттва махасаттва махакаруникая  
Ом сарва бхайешу транакарая тасмаи  
Нама скритва имам арья авалокитешвара ставам  
Поклоняюсь и принимаю прибежище в Трёх  
Драгоценностях.  
Поклоняюсь и принимаю прибежище во всемилостивом  
бодхисаттве-махасаттве Авалокитешваре.  
Ом. Поклоняюсь избавляющему от всякого страха  
милосердному бодхисаттве Авалокитешваре,  
чья безмерная благодать пребывает со мною.

Чисан самозабвенно молился, отбивая ладонью такт по столу; его голос был торжественно-спокойным, как во время храмовой церемонии.

– Как душевно! Прямо до слёз...

Стригший ногти поднялся, вид у него был растроганный. Камуфляжный сложил разбросанные на столе вещи в котомку и поскрёб затылок.

– Зря мы вас потревожили. Но что поделаешь – служебный долг. Вы свободны.



Сияя улыбкой, Чисан повесил котомку на плечо.

– Святая простота! Едва слышали молитву – тут же поверили.

– Да нет, вы, похоже, настоящий монах, – камуфляжный похлопал по котомке Чисана. – Моя покойная бабушка тоже была буддисткой.

Когда мы вышли из контрольного пункта, на улице уже стояли сумерки. Мы зашагали вдоль дороги.

– Давно не молился – охрип. Зайти бы куда-нибудь выпить. О, Владыка Всевидящий!

Голос Чисана звучал бодро, как будто он уже забыл недавнее унижение. В этом человеке и вправду было что-то непостижимое.

Когда мы добрались до посёлка, в лавках зажигали огни.

– Время трапезы прошло – сейчас у монахов воздержание... Так что в Дхарма-центр на ужин не пойдёшь. Давай где-нибудь перекусим.

Даже не спросив моего согласия, Чисан вошёл в китайскую закусочную. Немного помешкав, я последовал за ним.

– Что будешь? – спросил он, когда мы оказались в маленьком промозглом помещении и сели друг напротив друга за стол.

– Всё равно... Выбирайте вы.

– Я бы выпил, но сегодня решил потерпеть.

Он заказал две порции чачжанмёна<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Чачжанмён – лапша с бобовым соусом и овощами.

– Любите чачжанмён?

– Просто дёшево.

Чисан прыснул сквозь зубы.

– По правде говоря, даже не знаю, какая еда хороша. Всё позабыл. Что я люблю? Суть не в качестве продуктов – главное, сколько вложено души. Так сказал один известный повар... В монастырской пище нет ни грамма души. Однако мирянам нравится. Я размышлял об этом. Всё элементарно. Не считая городских Дхарма-центров, буддийские храмы в основном находятся в горах. После тяжёлого подъёма немудрено проголодаться. К тому же люди устают от жизни под беззвездным небом, от городской копоти и шума, от спиртного и жирной пищи, так что простой рис с овощами и дикими травами не может им не нравиться. Но все, кто в один голос хвалят монастырскую еду, – мол, на таких харчах за месяц раздобреешь – бегут без оглядки уже через десять дней: больше им немогуту. Впрочем, теперь эти веруны до самых монастырских стен доезжают на автомобилях. Конечно, время сейчас такое – время запустения: простая растительная пища исчезает даже из монастырей...

Принесли чачжанмён. Я стал выбирать из лапши кусочки мяса и лука<sup>24</sup>. Глядя на меня, Чисан поцокал языком.

– Я не говорю, что вегетарианство – это плохо. Но в нём нет души. Пища для нас – не более чем формальность: еда

---

<sup>24</sup> Буддийским монахам запрещено принимать в пищу лук, чеснок и некоторые другие травы, которые, как считается, возбуждают плотские желания.

необходима, чтобы заполнить голодное брюхо. Мы не смеем услаждаться. Мне сейчас положено быть в самом расцвете сил, а моё лицо покрывают старческие пятна и экземы. Каждый раз, когда я встаю на ноги, у меня всё плывёт перед глазами.

Он положил в рот кусочек лука и прожевал.

– Никто не поверит, если я скажу, что за год, не закусывая, прикончил несколько сотен бутылок сочжу. Думаю, я сделал это из чистого упрямства и упёртости. Вся моя жизнь как дешёвая рисовая брага, я крепко привязан только к алкоголю. Да, я привязан к нему. Но ты не ругайся. Я жив благодаря спиртному. Конечно, это позорное прозябание, но всё же... Если бы все на свете жили идеально, на кой чёрт сдалась бы нам религия?

Чисан взглянул на меня и снова поцокал языком.

– Что, нам нельзя есть запретные травы? Якобы для монаха-аскета они должны быть табу, потому что в них – источник мужской силы? Не смейся! Если уж лук с чесноком возбуждают влечение, что же тогда говорить о говяжьих рёбрах, о мясе и рыбе, которые продаются на каждом углу? Не надо совершать глупости: висеть на одной ветке и видеть перед собой единственное дерево, не замечая леса. Если задуматься об основной цели и смысле заветов Будды, станет ясно, что это просто нормы поведения. Эти заповеди – склонность сердца, возникающая ещё до какого-либо действия. Чего я только сегодня не наговорил! Пропавшая моя душа – вот и

разглагольствую о еде... О, Владыка Всевидящий!

Настоятель в Дхарма-центре был крупный упитанный монах лет сорока. Он выложил перед нами тетрадь с надписью: «Книга регистрации постояльцев». Мы заполнили нужные графы.

– Будьте добры, ваши монашеские удостоверения, – сказал он с улыбкой бывалого хозяина мотеля.

Вспомнив дневной инцидент, я не выдержал:

– С каких это пор в буддийской общине такие порядки?

– Распоряжение свыше – ничего не поделаешь... Мне и самому это до смерти надоело.

Я готов был разрыдаться. С каких пор – в самом деле, с каких? – буддийский мир сделался таким чёрствым и жестоким? Неужели сердечное, тёплое сострадание вовсе исчезло из монашеской общины, и теперь это мир, где один буддист требует у другого документы, как полицейский на допросе? Наша монашеская семья, в которой между братией было больше любви, чем между кровными родственниками, просто потому, что у всех бритые головы и одинаковые robes, – с каких пор она стала такой?

Но спорить было бесполезно: как сказал настоятель, это распоряжение свыше. Я достал удостоверение.

– И ваше тоже, прошу, – настоятель взглянул на Чисана.

Тот вдруг задрал до плеча рукав и сунул ему под нос руку с чётким, как клеймо, следом ожога от фитиля, оставшегося с церемонии посвящения.

– Вот моё удостоверение. Моё вечное монашеское удостоверение. Нет нужды беспокоиться об утере или подделке.

Настоятель, неловко засмеявшись, махнул рукой.

– Да что вы, дело не в том, что я вам не доверяю. Просто последнее время появилось много самозванцев. На днях останавливался один: не получил от нас денег на дорогу – так магнитофон унёс. Я вот что хочу сказать...

Некоторое время настоятель продолжал смаковать эту тему, ругая странствующих монахов: мол, монашеское дело – сидеть на месте и практиковать, чего они мотаются? При этом его лицо выражало нескрываемое сожаление о пропавшем магнитофоне.

В комнате для гостей было неуютно и зябко. На полу в беспорядке валялись старые грязные одеяла и деревянные подушки; бумажные вставки в дверях были разодраны, сквозь щели задувал холодный ветер.

– Самое идеальное общество – то, где не требуется никаких документов и удостоверений, а всё можно подтвердить собственным телом, разве не так?

Чисан то и дело ворочался – похоже, никак не мог заснуть. Мне тоже не спалось.

– Нестяжание... Будда считал его залогом счастья. Он говорил, что там, где есть обладание, стремление обладать, прорастают семена горестей. Страх, как бы не обокрали; жажда заполучить лучшее, а отсюда зависть, ревность, клевета – в итоге доходит даже до убийства... Монаху и в самом

деле подобает довольствоваться малым. Иметь только робу и чашу для подаваний... Однако я не имею ничего – и почему-то всё равно тяжело...

– Может, это такой парадокс: когда ничего не имеешь, лишь сильнее одолевает желание чем-то обладать?

– Наверное, так и есть... Всё гонишься и гонишься за большим... Думаешь: вот, нашёл – а оно всё ускользает. Что же мне не спится?..

– Всеми виной иллюзии. Пустые иллюзии...

Чисан вдруг засмеялся.

– Стремление стать буддой – тоже иллюзия. Ещё бóльшая – да пожалуй, и самая большая на свете иллюзия. В старину какой-то «пропащий» говорил, мол, напрасно Будда пришёл в этот мир – только перевернул весь дом вверх дном. Золотые слова.

– Вы жалеете, что ушли в монастырь?

– Вовсе нет. Просто мне очень грустно. Каждый имеет облик под стать своему лицу и способностям. Когда человек отвергает этот облик и желает обрести другой, он умаляет свою ценность. Истина, которой учил Шакьямуни, проста и ясна. Таково же и учение Иисуса. Но вот стать этой истиной – задача не из лёгких. Попытаешься откусить больше, чем сможешь проглотить, – дело кончится трагедией. Растеряешь и то немного, что имеешь... Окажешься не тут и не там, будешь скитаться где-то посередине. И умереть не умрёшь, и жить нормально не сможешь... Серый всегда был

цветом тоски... Это ведь и цвет монашеской робы... Не белый, не чёрный... Есть ли на свете другой столь же безнадёжный цвет?..

Спустя три года я навестил старого наставника. Он сидел в зале для медитации скрестив ноги, с прямой спиной и прикрытыми глазами; его прекрасное лицо скорее походило на холодный слепок.

Сделав три земных поклона, я, однако, не опустился перед наставником на колени, а сел, как и он, в позу лотоса. На мою дерзость он и бровью не повёл.

Я крепко сжал зубы, направил внимание в область даньтяня<sup>25</sup> и молча потянулся рукой к его подбородку. И вдруг наставник открыл глаза. Меня обдало волной ледяного холода, я весь задрожал. Мне показалось, что он прочитал мои мысли. Боевой запал почти сошёл на нет, однако руки я не убрал.

Пронзив меня острым, как кинжал, ледяным взглядом, наставник вложил мне в ладонь какой-то листок. Это оказался кусок ханчжи<sup>26</sup> размером с открытку. На нём была нарисована та самая птица в бутылке.

С глубоким вздохом я что было сил смял рисунок и бро-

---

<sup>25</sup> Даньтянь – энергетический центр, расположенный в брюшной полости немного ниже пупка; важный фокус в медитации в восточных боевых искусствах.

<sup>26</sup> Ханчжи – традиционная корейская бумага, изготавливаемая из коры шелковичного дерева.

сил его за окно. Наставник по-прежнему хранил молчание. Я больше не стал задерживаться и направился к выходу. И тут он меня окликнул. Я снова подошёл к нему. Он молча протянул руку к моему подбородку.

В тот же миг я словно очнулся. Застилавшая глаза пелена тумана спала, и я отчётливо увидел птицу в бутылке. Узкое горлышко, в которое никак не просунуть руку, стало понемногу расширяться – и наконец широко раскрылось.

Я опустил в бутылку руку и схватил птицу. Но потом случилось что-то странное. Я думал, что схватил её, однако моя ладонь оказалась пуста...

Вытаращив глаза, я уставился в бутылку. Внутри ничего не было. Абсолютная пустота. Я чувствовал себя жестоко обманутым и еле сдерживал слёзы. О-о, неужели все мои старания пропали даром? Неужели в бутылке с самого начала не было никакой птицы?

На меня вдруг навалилась страшная усталость, я едва держался на ногах. Я собирался было вытащить руку из бутылки – и не смог. Невероятно! Горлышко незаметно снова сузилось, и, сколько я ни пытался, руку высвободить не получалось...

– Так что привело вас в монастырь?

Не знаю почему, но у монахов считается табу спрашивать друг друга о причине ухода в монастырь. Однако Чисан ответил без колебаний. Похоже, колебаться было вообще не в



его духе.

– Мелодрама. Отец отправился в нирвану, когда мне было три года; я вырос на руках у матери. Я и университетской жизни хлебнул с горем пополам. Мечтал стать судьёй – осуждать виновных и спасать бедных и слабых. Это было целью моей жизни. Но позже закрались сомнения. Я вдруг понял, как это нелепо, когда один человек судит другого. А потом случайно встретил Шакьямуни, его слова о том, что любой, достигнув просветления, может стать буддой... Ужасно заманчивые слова. Тогда я самонадеянно решил, что тоже должен попытаться стать просветлённым. Я вырвался из рук плачущей матери и обрил голову. Хе-хе-хе. Поначалу всё шло гладко. Но так долго продолжаться не могло. О-о, Владыка Всевидящий!..

За окном завывала полночная сирена. Чисан отвернулся к стене.

– Чепуха. Давай-ка лучше спать.

По змеившейся с перевала на перевал извилистой тропе мы забрались на самый верх гряды – внизу показался монастырь. Плавающий закат обагрят подножие горы; в его вечернем свете сгорбленные крестьяне убирали осенний урожай; весело щебетала детвора. В каждом доме над печной трубой клубился дым; повизгивая, резвились на улице дворовые псы. Я присел на корточки.

– Мирная картина, правда?

Чисан оглядывал окрестности с видом мастера фэн-шуй, выбирающего счастливое место.

– Издалека она сколь угодно может казаться красивой и мирной, – он бросил на меня взгляд.

Я сорвал травинку и зажал в зубах.

– Посмотрите: этот клубящийся дым, детский смех...

Чисан с треском сломал палку, на которую опирался.

– Мир? Нет никакого мира. На земле, где живёт и дышит человек, не может быть мира.

– Вы пессимист.

Я мелко разжевал травинку. Чисан отшвырнул сломанную ветку далеко в сторону.

– Эти понятия, «мир» и «любовь», сияют только на расстоянии. Стоит сократить дистанцию – они погибают. Такова их судьба.

Я выплюнул прожёванную травинку.

– Вы говорите о сложности их воплощения?

Чисан подошёл ко мне.

– Я говорю об эгоизме. Какие безответственные, легкомысленные слова! Мир... любовь...

Я сел на траву.

– Несколько лет назад я тут жил.

Чисан присел на корточки рядом, достал из поясной сумки сигарету и взял в рот.

– Значит, тебе есть что вспомнить?

Закат был цвета монашеской касы. Земледелец, распра-

вив спину, постукивал себя кулаком по плечам. Дети, точно кузнечики, вприпрыжку бежали к храму.

Я встал и отряхнулся.

– Что вспоминать монаху?

В деревне возле монастыря Сореса было два десятка малоимущих дворов, хозяева которых трудились на монастырской земле, как и бывает в подобных селениях. Настоятель сетовал на безверие селян, но их, бедняков, волновали в первую очередь насущные проблемы, а вовсе не истины Будды, потому неудивительно, что верующих среди них не было. С пустым карманом даже свечи не поставишь.

Мне хотелось чем-нибудь им помочь. Когда я смотрел на грубые, перепачканные землёй руки и ноги селян, то стыдился своих по-девичьи белых рук.

Деревенские дети, окончив начальную школу, ехали в город и нанимались в прислуги. Те, кто оставался заниматься хозяйством, тоже только и искали возможности сбежать из этой глухомани.

Я решил учить детей программе средней школы. Они с готовностью откликнулись на мою задумку, правда, взрослые энтузиазма не проявили. Надо мной просто смеялись: мол, что за разговоры, дело монаха – молиться. Однако мне удалось переубедить селян и собрать детвору. Настоятель меня упрекал, требуя оставить пустые фантазии и заняться практикой; на это я отвечал ему, что смогу рассказать детям об

учении Будды и сделать их буддистами, — не в том ли и состоит долг монаха, решившего следовать Пути Просветлённого? Его я тоже убедил и получил разрешение проводить занятия в монастырской читальне. Однако материальной поддержки мне не обещали.

После долгих размышлений я много дней подряд просил милостыню, потом купил на собранные деньги доску, старые книги, тетради, карандаши и прочие канцелярские принадлежности, раздал всё это ребятам и стал по вечерам учить их. А время от времени между занятиями доступными словами пытался донести до них буддийские доктрины. Дети занимались с охотой, добровольно участвовали в церемониях, и понемногу их представление о буддизме менялось. Даже взрослые, не любившие жадного, самодовольного настоятеля, стали проявлять интерес к храму.

В классе училась одна девушка по имени Оксун, настоящая красавица. Пятнадцатилетняя Оксун была дочерью известного буддийского живописца, давшего монашеские обеты. Рассказывали, что несколько лет тому назад, расписывая стены в павильоне Будды Шакьямуни в монастыре Сореса, он оступился, упал со стремянки и разбился насмерть. Семья жила в страшной бедности. Восемь детей-погодков во главе со старшим братом-пьяницей, оставшимся за главного, — немудрено, что они прозябали в вечной нищете. Когда в храме совершались похоронные обряды или подношения, мать приходила пособить, за что получала еду для детей и

немного риса. Настоятель предложил Оксун остаться жить при монастыре и выполнять мелкие поручения. За это он даже обещал в будущем выдать её замуж. Бедствовавшая семья, разумеется, полностью это одобрила.

Мне казалось, Оксун испытывала ко мне какие-то чувства. Мне она тоже нравилась: красивая, скромная. Но вёл себя с ней холодно. Мы общались только формально, личных разговоров я не допускал. Все силы я отдавал воспитанию учеников. И вот с некоторых пор я начал замечать, что Оксун ходит как в воду опущенная, совсем исхудала. Учиться стала кое-как. Избегала встречаться со мной глазами. Меня снедала тревога: я боялся, что своей чрезмерной холодностью ранил юную девушку.

Тем вечером я, как обычно, допоздна проводил занятия, а потом пошёл в свою комнату. Постоянно вспоминалось её лицо. Я закрыл глаза.

Вдруг слышу: кто-то зовёт меня по имени. Оксун! Она сидела на лужайке возле храма. Странно, она была нагая. Светлая кожа слепила своей красотой. И вдруг позади неё из куста калины выползла длинная, как верёвка, чёрная змея. Она замерла у неё за спиной, подняв туловище и высовывая огненный язык. Я обмер от ужаса и крикнул: «Оксун, змея!» Но к моему изумлению, девушка лишь рассмеялась. Змея обвила кольцами её белое нагое тело. Только тогда Оксун закричала. Я бросился к ней, но сколько ни бежал, оставался на том же месте.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.